1905

- Святой человек он. Божье благословение имеет…

- Кто?! Расстрига этот?! Сатана!

Гришка петлял, как стреляный заяц, пёр пакет на Оренбургскую какому-то прощелыге – дядькиному дружку. Некоторым и воскресенье не указ, работай, Гришка. Сатана, скажут тоже. Истинный сатана – Гришкин дядька, чтоб ему провалиться.

- Идут, целая уйма идёт, с дороги бабы!..

- Айда царя бить!

- Как бы тебя не побили!

Гришка жадно ловил обрывки разговоров раскрасневшимися ушами, а ртом – сладкий мороз. Клубился в воздухе пар множества дыханий, вставал облаком над чёрной толпой, что грузно шевелилась в узкой улице между домами. Словно огромный змей перекатывался пока ещё медленным сонным телом.

- Не позволим капиталу делать из нас рабов!

- Куда прёшь?!

Гришка встал по струнке, прижался к афишной тумбе - и шагу не может сделать, смотрит как всё плотнее наливается улица людьми. И не чувствует уже подмокших ног и голода, а только тяжёлый ком торжественного страха в горле, какой бывает в церкви от могучего хора певчих. Настоящая сила идёт мимо Гришки. Сила, хоть дядька и не согласен – осуждает забастовки, говорит, работать надо лучше. Лентяи, мол, дураки, а Гапон – предводитель их – бесом одержимый. Но Гришка видит тусклое золото икон в чёрной толпе, трепещущие пёстрые хоругви, и не верит дядьке.

- Торопись, товарищи!

И Гришке пора. Рыбкой нырнул он в толпу, съёжился, заскользил поперёк идущих. Обтирает локти, спины, колени, месит жидкую снежную кашу худыми ботинками. Держит вдох в себе, будто и правда река кругом, и только выскочив по ту сторону улицы хрипло тянет холодный воздух. И снова неотрывно глядит, как сотни и тысячи людей идут к царю с прошением, не знает ещё, что идут они так по многим улицам, словно прорвало где-то плотину и потоки устремились сквозь город к Дворцовой площади, угрожая всеобщим бедствием.

А потом Гришка снова бежит, бежит и бежит в другую сторону, придерживая под тулупом проклятущий дядькин пакет…

Вечером Гришка сам себе хозяин, может не таясь глазеть и слушать.

Он и слушал, жадно запоминал, подпирая острыми лопатками створку дворовой калитки. Говорили о казаках с нагайками и шашками, о солдатах и выстрелах, о пушках, о бессчётно убитых. Причитала баба-кликуша, до зуботычин спорили мастеровые парни, дядька злобно сплёвывал жёлтым-табачным, а Гришка отчего-то вспоминал, как на той неделе тётка приладила курицу на колоду и рубанула топором. Куриная голова отвалилась в сторону, алея гребешком, а тулово побежало между сараями, разбрызгивая лёгкие красные пятна на лежалый снег.

Теперь дядька не сомневался: остановил царь рабочего змея. Ходил довольный, упрямо повторяя про дурней и лодырей, но с каждым днём его впалое щетинистое лицо приобретало всё более удивлённый вид. Гришка не заботится о дядькиных идеях, некогда ему было. Носился то здесь то там с поручениями и мелкой работой, подспудно чувствуя, как новое беспокойство заливает город, крутит течениями на площадях, и само время летит с невиданной скоростью.

Баррикады и забастовки зимой, стачки весной, потом Крестьянский союз – Гришке это не ясно, но гудит оно отовсюду и продирает до костей. И сам он словно щепка в невидимом потоке - крошечный, но причастный, истинно существующий.

А в июне Гришка вдруг ошалел, затуманился взглядом, повторяя красивые слова: «Князь Потёмкин Таврический». Были они не про какого-то князя, а про моряков, которые на своём корабле, том самом «Потёмкине», уплыли помогать восставшим в неведомую Одессу. Гришка мечтал, что там растут пальмы, вроде картинки на витрине фотоателье - длинные деревья-палки с огромными лопухами на макушках. Думал ещё, что в Одессе у всякого мальчишки живёт ручная обезьяна, а по берегу моря гуляют красивые дамы в белых платьях. И мечтал быть мятежным матросом, который их всех спасёт, и подолгу фантазировал свою геройскую гибель от рук жандармов, и даже иной раз сладко плакал. А потом моряки не вышли на берег, проплыли мимо и сдались властям. Потому что не было с ними Гришки…

Осень низвергла на город новую воду. Октябрь заливал с небес ливнями, «Москва! Москва!» – галдели продавцы газет, тощие шустрые типчики, дюжие дядьки в кабаках. Два миллиона бастующих, говорили, а сколько это – два миллиона? Вся Москва или вся страна? Ведь поднялись многие города, встали заводы, фабрики, конторы, снова напитался Гришкин мир чёрным и красным – яростными людьми и флагами.

Красное для Гришки страшное, но и праздничное, нарядное. Влечёт Гришку непонятно что, бредёт он на улицу как верёвкой привязанный. А там топчется за спинами, выглядывает, старается рассмотреть главного бунтаря, но тот слишком далеко – видно лишь как рывками всплёскивает его рука и полощутся на ветру полы бурого пальто. Зато голос громкий, раскатывается с типографских ступеней по всем ближайшим закоулкам: «Советы р-р-рабочих!.. солдатские и кр-р-рестьянские депутаты!.. всеобщая стачка… учр-р-редительное собр-р-рание!.. Лев Тр-р-роцкий!.. товар-р-рищи! Свобода и власть, товар-р-рищи!»

«И я, я тоже! – думает Гришка, - Я тоже товарищ!» Дядьку своего он больше не слушает почти нисколько, сам уже соображает что к чему. А с громкими отважными людьми вовсе перестанет малодушничать. И научится нужным словам, как этот человек в пальто, и возьмут его спасать барышень, нести флаг, выступать с крыльца. Гришка с лета не пищит, вполне сгодится басовитостью глотки – уже переломался его голос, и росту стало на голову больше. Чем не товарищ?

«А если не возьмут? – мимолётно паникует Гришка и тут же себя одёргивает, - Возьмут, в ноги упаду!» И от предвкушения новой жизни из живота его расползается по телу щекотная оторопь, бьёт в голову испуганная карусельная радость. На долю секунды мерещится в мыслях алый куриный гребешок, но Гишка смаргивает, и он пропадает навсегда.

А воды текут, ревут, вырываются из гранитных каналов, поднимаются выше кованых мостов, задранных голов, верхних балконов и мансардных окон, выше сырого Питерского неба и Гришкиного разумения. Чёрные воды, красные воды - встают и бьются в Божьи кисельные берега. И не остановить их, и не совладать.